

Жорж Нива

Возвращение в Европу

*Статьи о русской
литературе*

*

Перевод с французского
Е.Э. Ляминой



Москва
«Высшая школа»
1999

Вячеслав Иванов, русский европеец

11 февраля 1944 года Рим еще оккупирован немецкими войсками. 3 марта его будет бомбить союзная авиация. 78-летнего Вячеслава Иванова вновь посещает поэтическое вдохновение, и он пишет стихотворный "Римский дневник". "Мудрец с Тарпейской скалы" (так назвала Иванова Зинаида Гиппиус в статье 1938 г.) живет в это время на Авентинском холме: в начале 1940 г. ему пришлось покинуть прилепившийся к восточной стороне Колизея живописный домик, выходящий на еще не расчищенную в ту пору Via Sacra. Муссолини, отдавший приказание снести эти древние трущобы, был прав: в том месте, где стоял домик Иванова, Via Sacra некогда делала крутой поворот, след которого отыскался после уничтожения обреченных кварталов. Открывающие "Римский дневник" строки напоминают об этом обиталище "мудреца с Тарпейской скалы".

Журчливый садик, и за ним
Твои нагие мощи, Рим!

Мудрец безропотно покинул свой временный рай. Кем он был, этот мудрец в венчике убеленных сединой кудрявых волос?

Легче сказать, кем он не был. Он не был русским эмигрантом, хотя 28 августа 1924 г. навсегда покинул территорию бывшей Российской империи. Он с осуждением взирал на неистовые революционные игры: об этом свидетельствует небольшое неизданное стихотворение "Рулетка Революции", сохранившееся в римском архиве наследников поэта, — но не принимал участия в политической жизни эмиграции. Он не мечтал о том, чтобы вернуться и умереть на родине, — ему хотелось умереть в Риме, где он и скончался 16 июня 1949 г.

Иванов — совсем не русский интеллигент, каким был его отец, запечатленный в поэме "Младенчество": он отрицает атеизм, веру в прогресс, утопические мечтания русской интеллигенции. Раз так, значит, его влечет в лоно православия, как Бориса Зайцева или Мережковского? Нет: в 1926 г., в день памяти св. Венцеслава, он переходит в католичество в римском соборе Святого Петра. Подобно В.С. Печерину, ставшему в 1840 г. монахом-редемптористом, и Владимиру Соловьеву, в 1886 г. признавшему главенство Римской церкви, Иванову неуютно в чистой, изолированной "русскости". Рим делает его счастливым.

Его мудрость завоевана, приобретена тяжелым трудом; это мудрость человека, которому не по себе там, где все задано и определено наперед.

Русский писатель, особенно со времен Гоголя, всегда чувствует, что он не только писатель, а еще пророк, мученик, монах. Русской иконоборческой культуре вольготно только в слове. Она обожает слова. Но, по мысли Иванова, это не приносит ей счастья: ведь она исполняет другую миссию, которая обескровливает ее. Иванов хотел бы вернуться к "веселому ремеслу", к "умному веселию" Ницше.

Он считал, что Россия стала наследницей Греции и Византии, но разминулась с Римом — а греческая радость и живость между тем достались латинянам. Суровая византийская Россия не находит себе места между аполлонической латинской веселостью и варварской дионисийской страстью. Скифянка Россия, словно юный Анахарсис, неустанно обращается к Элладе в поисках мудрости, формы и меры.

России не хватает "полисного" сознания, умения чувствовать себя гражданином города. Но ей недостает и варварского, раскрепощенного индивидуализма. В 1903 г. выходит первый поэтический сборник Иванова "Кормчие звезды", в котором впервые затронута одна из центральных тем его творчества: мы, русские, — скифы, летофаги, поедатели забвения, мы противостоим Западу, до изнеможения уставшему помнить обо всем:

В нас заложена алчба
Вам неведомой свободы...

При этом нельзя сказать, чтобы Иванов питал отвращение к самому себе как к русскому, подобно упомянутому выше Печерину. Он даже склонен был считать себя славянофилом, впрочем, особого толка — славянофилом Святого Духа. Россия свята, ибо она сама есть вера — в себя, в грядущую Россию. Вне этой веры, вне Второго Пришествия она облеплена грехами, как сосна — смолой. Мы верим в нее, потому что ее еще нет, как нет пока ни Церкви Христовой, ни Царствия Божия.

Иванов — мистик несуществующей России, апостол памятования, исповедания грехов (здесь он сближается с отцом русского славянофильства Хомяковым). Полезно напомнить об этом сегодня, когда Россия уже в который раз подвергается искусу забвения.

Итак, Иванов проповедовал цельную, религиозную Россию, слитую воедино под покровом мистического Духа-утешителя, примиренную с евреями, которые научили ее тому, чего никогда не было у греков, — борьбе с ангелом, поединку с Богом, творческому напряжению между Богом и Его творением, между необходимостью и свободой.

При этом Россия, по мысли Иванова, должна примириться и с Римом св. Петра, с "нагими мощами" Рима. Примириться за всю историю православия, избегая спора о первенстве, дележки веры (этого он смертельно боялся) и обмирщения, которое, как говорил Иванов в 1917 г., может привести только к чудовищным разрушениям и оставить после себя маленькую горсточку пепла. Так и есть: вот она, эта горстка. Вернется ли Грядущий Ужас, предсказанный Ивановым еще до революции, этот Теттог Futuri, которым пронизан шедевр Андрея Белого — роман "Петербург"?

Все творчество Вячеслава Иванова — и его роскошно, изощренно интеллектуальные стихи, и стихи, обезоруживающие своей простотой, — говорит об одном: необходимо обрести чувство своего истинного места и предназначения. Не отступать перед Теттог Futuri, не слушать про-

поведников неслыханного грядущего вандализма. И здесь Иванов резко отличается от других русских символистов: его нельзя обвинить в безответственном апокалиптизме, в разнузданном мазохизме. Блок, Белый, многие "дети страшных лет России", вышедшие из 1905 г., твердили о нашествии вандалов, разложении общества и честных людей, о великом закате идеи собственности. И поскольку чародейство всегда приводит к некоему результату, эти заклинания были услышаны и исполнены, опередив самое смелое воображение. Иванов не призывает катастрофу, а хочет влить ее в сегодняшний день, овладеть стихией дионисийства, приручить неизбежное в скором будущем безумие.

Да, Россия чрезвычайно уязвима: "Дионис в России опасен! Он легко превращается в гибельную силу, в особенно разрушительное исступление!"

Однако у России есть козырная карта. Вслед за Тургеневым, Пушкиным, Мандельштамом, Хлебниковым и Пастернаком (какими бы разными они ни были) Иванов наделяет русский язык невероятной мощью: только ему удалось сохранить в своих глубинах толику мистического напряжения, дуальности античного мира. Аполлон и Дионис соединены и спрятаны в русском языке. Он хранит и таинственные шопоты священной дубовой рощи, и прозрачный вкус словесных гроздей, и силу виноградных лоз.

Возможно, Иванов — поэт Возрождения, того самого, которого не было в России. Может быть, он русский европеец, которого Россия мечтает возвести на пьедестал: на эту роль пробовался и Пушкин — но его упрямо не признавали, и Достоевский, которого не желали понимать верно, и настойчиво опошляемый Пастернак...

Отец Подростка Версиллов признается сыну в том, что полюбил кладбища Европы. Иванов не столь ироничен: дионисиец, превратившийся в римлянина-христианина, он сражается за гуманизм, зная, что гуманизм мертв, подобно тому, как в "Илиаде" греки бьются с троянцами за тело Патрокла. "Мы воюем за уже бездыханное тело героя, за то, чтобы его у нас не украли, чтобы одичавшие орды безумных не осквернили его".

Спасти мертвое тело гуманизма, укрыть его за священными крепостными стенами христианства — таково, как мне представляется, последнее слово Иванова, завещание "цикады-наставницы" (так он шуточно величал себя).

Иванов написал о музыке Скрябина две статьи и посвятил ему не одно стихотворение: именно Скрябин вышел из осажденного города на поиски тела павшего героя и внес его в крепость (*intra muros*) — в искусство. Скрябин соединяет распыленное, освящает нечестивое, преобразует слушателя в участника действия, а публику — вас, нас — в античный хор.